CORA Cork Open Research Archive
Cartlann Taighde Oscailte Chorcaí

Title	Images of violence against believers in a museum exhibition: The history of one case from the KGB archive
Authors	Vagramenko, Tatiana;Nicolescu, Gabriela
Publication date	2021
Original Citation	Vagramenko, T. and Nicolescu, G. (2021) 'Images of violence against believers in a museum exhibition: The history of one case from the KGB archive', Researches in Religious Studies, 23 (1)
Type of publication	Article (peer-reviewed)
Link to publisher's version	https://rrs-journal.ru/
Download date	2026-10-10 02:48:54
Item downloaded from	https://hdl.handle.net/10468/11234

UCC
University College Cork, Ireland
Coláiste na hOllscoile Corcaigh

Татьяна Ваграменко, Университет Барселоны
Габриела Николеску, Оксфордский университет

Образы насилия над верующими в музейной экспозиции: История одного дела из архива КГБ

***Религиоведческие исследования [Researches in Religious Studies]*,**
Volume 23, Number 1 (2021)

Аннотация

В статье обсуждается тема восприятия и использования в музейном пространстве изображений государственного насилия. В центре внимания – история одного необычного уголовного дела 1952 года, когда группа верующих из украинских сел была осуждена как члены «церковно-монархической антисоветской подпольной организации “Истинно-православной церкви”». Фотографии из этого уголовного дела были представлены на выставке в 2019 году в Румынии. Посетителям было предложено посмотреть на два варианта фотографий арестованных верующих: оригиналы и их копии, отредактированные оперативниками. Реконструируя долгую историю архивного дела, авторы пытаются показать, как по-разному могут прочитываться архивные фотографии и тексты, и как они, становясь частью музейного пространства, обретают новый потенциал в формировании исторической памяти. В статье обсуждается вопрос трансформации травматического прошлого (многие участники которого еще живы) в культурное и историческое наследие, а также то, как эти «трудные» формы культурного наследия порождают новые смыслы и создают новые пласты исторической памяти.

Abstract

The article discusses the use and perception of images of state violence in a museum space. It tells the story of an unusual trial against a group of believers, arrested in 1952 in Ukraine and charged as members of the “ecclesiastic-monarchist underground organization” the True Orthodox Church. Images from the group penal file (preserved nowadays at the Archives of the Ukrainian Security Service in Kiev) were displayed at the exhibition held in

2019 at the Museum of Art in Cluj-Napoca. Visitors were invited to look at two sets of photographs: originals and spruced-up copies, both produced by secret police officers. Through the reconstruction of the story of the people on trial, we discuss the role of images of state violence and religious repression in triggering the mechanisms of historical memory. How can we transform recent traumatic past into historical and cultural legacy, while preventing it against unhealthy manipulations? What are the attributes and limits of showing? Suggesting a "thick description" approach towards archival reading and the reconstruction of microhistories we discuss how the images of the "difficult" past can generate different narratives and how they can heal wounds rather than make new ones.

Ключевые слова:

Истинно-православная церковь, советские спецслужбы, религиозные репрессии, архив и память, образы насилия в музейном пространстве

Введение

В ноябре 2019 года в румынском Музее искусства в городе Клуж-Напока была организована выставка «Тайные галереи», посвященная истории религиозного подолья в свете архивов тайной полиции в Центральной и Восточной Европе в XX веке[1]. В ходе этой выставки посетители могли ознакомиться с документами, фотографиями, рисунками, схемами и другими архивными материалами, как созданными спецслужбами в их работе против нелегальных религиозных групп, так и конфискованными у репрессированных верующих. В одном из залов экспозиции была представлена серия необычных фотографий. Снимки были взяты из уголовного дела 1952 года, хранящегося в архиве Службы безопасности Украины (бывший архив КГБ). Через полупрозрачную бумагу посетители могли увидеть фотографии группы верующих, осужденных как членов «церковно-монархической подпольной организации "Истинно-православная церковь"». На кадрах был запечатлен драматический момент сопротивления и насилия. Организаторы выставки во главе с

[1] "Hidden Galleries: Clandestine Religion in the Secret Police Archives," http://hiddengalleries.eu/exhibition/hidden-galleries-clandestine-religion-in-the-secret-police-archives/.
Выставка была организована в рамках проекта Европейского научно-исследовательского совета *Hidden Galleries* (European Research Council project no. 677355).

кураторами Габриелой Николеску и Джеймсом Капало решили выставить фотографии в небольшом размере, скрыв их одновременно слоем полупрозрачной кальки, таким образом предоставив возможность посетителям самим открыть и увидеть кадры. Однако на фотографиях был еще один слой: каждый снимок имел две версии, и посетителям было предложено найти разницу между ними. Музейная этикетка рассказывала историю, которая случилась более полувека назад в Киевской области, в Советской Украине.

Они все время пели и молились: во время задержания, во время фотографирования, во время допросов и даже в суде. В мае 1952 года украинские спецслужбы (МГБ) арестовали 23 человека, во главе с Панфилом Колесником, по обвинению в создании нелегальной антисоветской организации Истинно-православной церкви. Все, что мы знаем о них сегодня и все, что составляло доказательства МГБ тогда, так это то, что это были простые крестьяне, живущие в селах Переславль-Хмельницкого района, которые тайно собирались у себя по домам на всенощные моления. Этого было достаточно для предъявления обвинения в антисоветской агитации и пропаганде. Следствие и суд были совсем необычными: казалось, они нарушали все нормы ведения уголовных дел того времени. Как свидетельствуют акты и отчеты о задержании, верующие оказали сопротивление во время производства ареста, они забаррикадировались в доме, разорвали на себе одежду, громко кричали и молились. Впоследствии они отказались давать показания на допросах, отвечая только: «Бог знает» или «Я буду отвечать только на Божьем Суде». Находясь в тюрьме МГБ в Киеве, они непрестанно пели религиозные песнопения и молились, даже во время судебных слушаний. Во время предварительного заключения верующие объявили голодовку, в результате чего, по всей видимости, пятеро из заключенных погибли вскоре после вынесения приговора. Задержанные также отказывались говорить, самостоятельно передвигаться, даже спать на тюремных койках. Сотрудники тюрьмы были вынуждены носить их на руках на допросы и судебные заседания. Приговор был стандартным для того периода: 25 лет лагерей почти всем участникам. Большинство из осужденных получили досрочное освобождение по амнистии (после смерти Сталина) в 1956 году, но некоторые их них получили второй срок уже в 1957 году. В уголовном деле были

обнаружены два варианта фотографий осужденных. На снимках мы видим, как задержанные оказывают сопротивление фотографированию: они закрывают глаза, отворачиваются от камеры, они поют или кричат, в то время как сотрудники пытаются жестко подавить их сопротивление: руки в черных перчатках сжимают горло некоторых задержанных, удерживают их головы. Впоследствии «испорченные» фотографии подверглись примитивному монтажу: следы насилия были заштрихованы. Обработанные снимки открывали уголовное дело, в то время как оригиналы меньшего размера были прикреплены на обороте анкет арестованных[2].

То, что посетители смогли увидеть и прочитать на выставке в Клуже, разумеется, было упрощенной формой презентации сложного и неоднозначного архивного материала. В этой статье мы попытаемся проанализировать многослойность истории Панфила Колесника, его семьи и его религиозной общины. В статье также рассматривается вопрос об использовании изображений насилия в музейном пространстве и их роли в конструировании и осмыслении исторического наследия.

Отказ от фотосьемки арестованных является вполне типичной формой сопротивления властным структурам. В истории европейской тюрьмы мы можем найти разные упоминания сопротивления полиции, пытающейся сфотографировать задержанного: будь то фотографии арестованных ирландских фениев, отказывающихся сидеть или открыто смеющихся в камеру; или знаменитые кадры задержанной женщины, гримасничающей во время производства фотографий[3]. Эти и подобные им снимки свидетельствуют о реальности, скрытой за полицейской фотографией: применение силы и властных практик над телом и образом подозреваемого или преступника. Фотокамера в данном случае является своеобразным носителем и катализатором закона, воплощением дисциплинарных

[2] Главный отраслевой архив Службы безопасности Украины (далее архив СБУ), ф. 6-фп, д. 69346, т. 1.
[3] Suibhne, Breandán Mac and Amy Martin. “Fenians in the Frame: Photographing Irish Political Prisoners, 1865-68,” *Field Day Review*, 1 (2005): 107; Tagg, John. *The Disciplinary Frame. Photographic Truths and the Capture of Meaning*. University of Minnesota Press, 2009, XXV; Gunning, Tom. “Tracing the Individual Body: Photography, Detective and Early Cinema.” In *Cinema and the Invention of Modern Life*, ed. by Leo Charney, and Vanessa R. Schwartz, 15-45. University of California Press, 1995, 27-29.

механизмов[4]. То, что отличает фотографии из уголовного дела 1952 года, это как раз многослойный процесс работы с изображением, его обработка и фотомонтаж. Именно эту многослойность изображений и реальности, стоящей за ними, мы попытались передать и на выставке в Клуже. В этой статье мы далее развиваем идею слоев реальности архивного дела и двойной манипуляции с документами и исторической правдой. Если первый слой изображений демонстрирует применение насилия над верующими, то следующий слой – заштрихованные руки и черные перчатки – раскрывает техники манипуляции и создания «правильного» нарратива. Как пишет американский историк-искусствовед Джозеф Кернер об иконах и иконоборчестве времен немецкой Реформации: «Чем более видна рука, работающая над образом, тем менее этот образ претендует на отражение истины»[5]. Исходя из самого очевидного: если на изображении что-то заштриховано, это говорит о желании или необходимости это «что-то» удалить; при этом мы интуитивно осознаем, что здесь скрыто нечто важное[6]. Вспомним хотя бы о последовательно исчезающих фигурах опальных политических деятелей на советских групповых портретах; или о семейных фотоальбомах с вырезанными снимками репрессированных родственников в Сталинский период[7]. В истории уголовного дела 1952 года было много слоев, которые позволяют нам реконструировать детали, причины и последствия ареста деревенской религиозной общины. В данном исследовании мы анализируем слой за слоем, реконструируя по архивным документам и фотографиям жизнь простых верующих из украинских сел, чья незамысловатая безымянная вера привела в действие дисциплинарные механизмы власти и обнажила техники работы советских спецслужб по созданию образа врага.

Возвращаясь к выставке – отображение этой истории в музейном пространстве, прежде всего, меняет наше восприятие архивов и архивных изображений. Именно в музейном контексте документ или архивная фотография трансформируются в культурное наследие. То, что создавалось как совершенно

---

[4] Gunning, Tracing the Individual Body, 27.
[5] Koerner, Joseph. “The Icon as Iconoclash: The Image Makers are the Image Breakers.” In *Iconoclash*, edited by Bruno Latour, and Peter Weibel, pp. 164–213. MA: MIT Press, 2002, 93.
[6] Nicolescu, Gabriela. “On Ruination: Piercing the Skin of Communism in 1990s Romania.” *World Art* 7/2 (2017): 283-306.
[7] King, David. *The Commissar Vanishes: The Falsification of Photographs and Art in Stalin’s Russia*. New York: Henry Holt, Metropolitan Books, 1997.

секретный материал, скрывающий террор, насилие и репрессии, сегодня становится достоянием общественности, а значит объектом новых манипуляций. Эти «трудные» формы культурного наследия порождают новые смыслы и создают новые пласты исторической памяти. Именно поэтому важна не просто историческая контекстуализация экспонируемых изображений, но также и анализ того, что происходит между зрителем и изображением. Взаимодействие между зрителем и музейным образом становится полем активизации технологий памяти – памяти травматического прошлого, государственного насилия и религиозных репрессий.

«Бог знает»

В мае 1952 года, украинские спецслужбы задержали группу из 23 человек, проживающих в восьми соседних селах Переславль-Хмельницкого района Киевской области. Судя по материалам дела, арест стал частью крупной спецоперации по вскрытию и ликвидации подпольных религиозных групп в регионе. Никто из допрошенных свидетелей не мог дать внятного ответа о религиозной принадлежности задержанной группы верующих. Одни называли их штундистами, другие баптистами, иногда говорилось просто – «вторая вера». Многие знали, что дома этих верующих были больше похожи на церквушки – с православными иконами, крестами и церковными книгами. При этом они никогда не ходили в православные церкви и не признавали православных священников. Члены этой общины жили изолированно, не вступали в разговоры с соседями, прятались каждый раз, как приходили чиновники из сельсовета, и никогда не говорили о своей вере. На все вопросы они отвечали: «Бог знает». Все, что мы достоверно о них знаем – это были бедные крестьяне, многие из них малограмотные, которые собирались по домам на моления и всенощные. МГБ допросило 48 свидетелей по делу арестованных (примечательно, что все они были допрошены в качестве свидетелей за месяц до самого ареста группы). Все подтвердили, что верующие отказывались вступать в колхозы или работать на других советских предприятиях, платить налоги, не подписывались на государственные займы, даже не дотрагивались до советских документов или денег (если кто-то приносил их в дом, они выметались метлой из избы). Своих детей они не пускали в школу, давая им религиозное воспитание. Они

возделывали свои небольшие приусадебные участки, иногда работали по найму у частных лиц, при этом никогда не брали деньги за свой труд, а принимали плату продуктами или вещами. Некоторые из задержанных уже были судимы ранее. У других органы опеки отобрали малолетних детей (за отказ дать им «коммунистическое воспитание»), о которых они больше не слышали.

В официальном обвинительном заключении, а также в судебном приговоре подсудимые обвинялись в антисоветской агитации и пропаганде как члены «церковно-монархической подпольной организации «Истинно-православная церковь» (далее ИПЦ). Несмотря на то, что ни один из 23 подсудимых, ни 48 свидетелей по делу, ни даже сами следователи на допросах ни разу не упомянули термин ИПЦ, делопроизводство советских спецслужб требовало четкой категоризации государственных врагов. Так, полуграмотные крестьяне украинской глубинки получали свои ярлыки из стандартного набора персонажей: шпион, саботажник, контрреволюционер, террорист и т.д[8].

Начиная с конца 1920-х годов Советское государство начало проводить последовательную репрессивную политику против народных религиозных движений, особенно распространившихся после Революции и Гражданской войны в сельских регионах. «Эпидемия религиозных чудес», распространение слухов и толков об обновлении икон, появление святых источников и рост паломничества к ним, появление святых, пророков, богородиц, объявление живыми убиенных членов Царской семьи, эсхатологические ожидания – все это трудно поддавалось как контролю, так и классификации. Понятия «краснодраконовского типа организация», «церковно-монархическое подполье» и «Истинно-православная церковь» стали стандартными формулировками на страницах секретных документов ОГПУ, а позднее и в антирелигиозной пропаганде. Советские спецслужбы того времени (ОГПУ, позднее НКВД) публиковали под грифом «совершенно секретно» разнообразные брошюры, «образцово-показательные» обвинительные заключения по делу ИПЦ, которые затем рассылались по региональным подразделениям. Целью подобных публикаций было снабдить оперативников, работающих на местах с

[8] Vatulescu, Cristina. *Police Aesthetics: Literature, Film, and the Secret Police in Soviet Times*. Stanford University Press, 2010, 38; Verdery, Katherine. *Secrets and Truth: Ethnography in the Archive of Romania's Secret Police*. Central European University Press, 2014, 56.

народной религиозностью, необходимыми формулировками и категориями, статьями обвинения, техниками работы и допроса. Повторяющие формулы и приемы, таким образом, обеспечивали стандартизованное преставление о религиозном враге[9]. В этом смысле, уголовное дело 1952 года вполне вписывалось в тот набор категорий и инструкций, которыми был обучен следователь и оперативник.

Тем не менее, уголовное дело на глазах разваливалось. Казалось, всё нарушало нормы и стандарты, принятые в делопроизводстве советских спецслужб того времени. Четыре увесистых тома уголовного дела были результатом невероятно короткого расследования (по крайней мере для уголовной практики 1950-х годов). Досудебное расследование и допросы заняли всего лишь три дня, плюс дополнительная ночь для 22 очных ставок между задержанными и свидетелями, проведенными с 9 часов вечера до 4 часов утра. Во время допросов верующие отказались отвечать. Все, чего от них смогли добиться следовали: «Бог знает» или «я отвечу на Суде Божьем». Не было ни признания, ни раскаяния, которые сталинские чекисты обычно с легкостью выбивали у подсудимых. Верующие пели и громко молились на допросах и в суде. Все уголовное дело – от дня ареста до вынесения приговора – заняло девять дней. Решение суда: 25 лет лагерей всем участникам, за исключением троих женщин, к которым мы еще вернемся.

Необычной была и структура самого уголовного дела. Первый том открывается чистым листом, в центре которого приклеена фотография с пожелтевшими следами клея и надписью от руки: Панфил Константинович Колесник (фото 1). На снимке изображен пожилой мужчина с седой бородой: он отвернулся от камеры, глаза закрыты, пиджак разорван. Справа на фотографии что-то тщательно заштриховано.

Фото 1.

[9] Vagramenko, Tatiana. Visualizing Invisible Dissent: Red-Dragonists, Conspiracy and the Soviet Security Police". In *The Religious Underground and the Secret Police in Communist and Post-communist Central and Eastern Europe*. Ed. by James Kapaló and Kinga Povedák. Religion, Society and Government in Eastern Europe series. Routledge (в печати).

Фотография, по всей видимости, была произведена после ареста и являлась сигналитической (опознавательной) фотографией, разновидностью судебной фотографии. Советская криминалистика устанавливала четкие стандарты сигналитической фотографии: двойная фотография в фас и профиль на расстоянии два метра между объективом и снимаемым, с естественным и спокойным выражением лица регистрируемого, полученные негативы не ретушируются и не исправляются[10]. Все это очевидно было нарушено на фотографии Панфила Колесника. Но почему тогда именно эта «девиантная» фотография была вынесена в центр, увеличена в размерах, привлекая внимание? Остальные фотографии задержанных были выделены таким же образом, кроме дела жены Панфила, Марии Колесник, чей снимок по неизвестным причинам был убран из дела – на пустом месте сохранились только следы пожелтевшего клея. (Возможно, эти фотографии были повторно использованы в ее втором уголовном деле в 1957 году). Все фотографии фиксируют необычную динамику: молодые и пожилые женщины и мужчины, кто-то с закрытыми глазами, кто-то отворачивается от камеры или смотрит вниз. Некоторые из изображаемых кричат или поют, другие беспомощно и молчаливо повисли на руках оперативников. Девять фотографий подверглись примитивному фотомонтажу – некоторые их части грубо заштрихованы, удаляя со снимков нечто нежелательное.

Листая дальше пожелтевшие страницы архивного дела, мы обнаруживаем те же фотографии, только меньшего размера, на обороте анкет арестованных. Это оригинальные варианты снимков, до монтажа. На этих фотографиях становится ясным, что именно так тщательно было удалено и заштриховано. Оперативники пытались довольно жестко подавить сопротивление верующих: их руки, иногда в черных перчатках, отчетливо видны на снимках. Именно это присутствие насилия было последовательно заштриховано на фотографиях (фото 2-5).

---

[10] Криминалистика. Книга 1. Техника и тактика расследования преступлений. Учебник для слушателей правовых вузов. Под ред. А.Я. Вышинского. М.: «Советское законодательство», 1935, 52-54; Vagramenko, Tatiana. “KGB Photography Experimentation: Turning Religion into Organized Crime,” *Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History* (в печати).

Фото 2 и 3

Фото 4 и 5

Разрыв

Разница между двумя вариантами фотографий, оригиналом и «очищенными» снимками, не только раскрывает детали случившейся истории, но и говорит о самом процессе производства знания. «Голоса гонимых до нас доходят (если доходят) только через посредников, через фильтры вопросов преследователей и в записях протоколистов, в их искажающем изложении», пишет Карло Гинзбург в своем исследовании протоколов инквизиции XVI века[11]. То же можно сказать и об архивах «репрессивных органов» Советского периода. Голоса репрессированных до нас доходят только в записях протоколов допросов; они слышны или совсем заглушены только благодаря способности или неумению следователя «причесывать» протокол допроса в соответствии с принятыми стандартами и формулировками. В обоих исторических контекстах (протоколы инквизиции и советских спецслужб) судебный процесс был обычно сопряжен с давлением и насилием. Тем не менее Гинзбург основывает свое историческое исследование на «*разрыве»* (discrepancy или gap) между вопросами инквизитора и ответами подсудимого – разрыве, обособляющим нарратив инквизиторов с их вопросами от того, что на самом деле сказал или имел в виду обвиняемый. Этот «*нарративный разрыв*» в инквизиционных протоколах позволяет ему собрать по крупицам фрагменты забытой народной культуры Италии XVI века. Что касается архивных дел советских репрессивных органов, найти здесь подобный нарративный разрыв довольно сложно. Следователь спецслужб в Советский (в особенности Сталинский) период довольно свободно обращался с показаниями подсудимых и свидетелей. Вообще, официальные документы советского периода довольно сложно читать из-за их «деревянного», «причесанного» языка. Вместо ожидаемого многоголосия, создающего тексты уголовных дел, в особенности допросов, мы читаем монотонные, стандартизованные, трафаретные

[11] Ginzburg, Carlo. *The Cheese and the Worms: The Cosmos of a Sixteenth-Century Miller*. Johns Hopkins University Press, 1980, x.

тексты. Как пишет Кэтрин Вердери на примере архивных дел румынского Секуритате, в официальном делопроизводстве задача была подчинить, что она называет вслед за Бахтиным, гетероглосию текста (сосуществование в одном нарративе разнородных голосов и вариантов речи, отражающих разные ценности и значения) единой доминантной интерпретации[12]. Подобным образом в текстах и документах сталинских спецслужб, в особенности в уголовных делах, не было задачи в точности передать показания подсудимого: его слова переводились, поправлялись, интерпретировались в соответствии с единственно верной советской моделью прочтения и толкования реальности – то, что Вердери называет единой доминантной интерпретацией. Эта логика лежала в основе любого советского делопроизводства, она также определяла, что можно было говорить или писать, а что нельзя, что можно было показывать, а что нельзя. Так создавалась социалистическая реальность, которая определяла судьбы людей. Даже уголовные дела и допросы спецслужб под грифом «секретно», не подразумевавшие наличие внешнего читателя, должны были показать мастерство упорядочивания текста, сглаживания противоречий и маскировки гетероглоссии. В конечном счете, целью было не установление истины, а демонстрация победы советской власти над антисоветским врагом, в нашем случае, разоблачение организованного политического врага, скрывающегося под маской деревенской религиозности.

Однако в этом создании «правильных» социалистических текстов преуспевали не все и не всегда: часто следователи, секретари или оперативники были недостаточно опытными или образованными, чтобы мастерски обработать сотни показаний и донесений, с которыми они ежедневно имели дело, не всегда у них получалось очистить эту разноголосицу и трансформировать ее в соответствии с принятыми стандартными форматами и моделями. В этом случае мы видим то, что Гинзбург называет разрывом – разрывом между доминирующим советским нарративом и ответами простых людей. Это позволяет нам в стандартизированных протоколах допроса по крупицам вычленить голоса простых верующих, часто подрывающие гармонию и монотонное единство текста. Этот разрыв дает возможность реконструировать сюжеты, мотивы и верования, тщательно скрываемые

[12] Verdery, *Secrets and Truths*, 51-52.

создателями документов. Для ясности приведем пример. Ниже следуют ответы на допросе подсудимой Пелагеи Плесняк. Она проходила по другому уголовному делу против истинно-православных христиан, арестованных и осужденных за несколько месяцев до задержания общины Панфила. Пелагея знала Панфила, поэтому ее показания были также включены в его уголовное дело. Эти ответы были даны в течение одного допроса, 15 февраля 1952 года, с 19:30 до 00:45. Пелагея рассказывает о молитвенных собраниях в доме Панфила:

«Ответ: Обычно мы приходили к Панфилу накануне религиозных праздников, каждый раз с ночевкой, проводили там день, а затем рано утром уходили домой… Все время, что мы бывали у Панфила, там под его руководством проводились моления и отправления религиозных обрядов, читались религиозные книги – «[Ж]ития [С]вятых», «[П]оучения», а также Панфил со всеми нами проводил беседы, давал толкование [П]исания.

Вопрос: Только на религиозные темы проводились Панфилом беседы?

Ответ: Да, только на религиозные темы.

Вопрос: Следствию известно, что под видом или прикрытием бесед на религиозные темы, Панфил, как руководитель сектантов «истинных христиан», проводил активную антисоветскую работу. Предлагаем вам дать правдивые показания по существу этого вопроса.

Ответ: Да, я намерена дать правдивые показания по этому вопросу. Панфил действительно проводил антисоветскую работу среди окружавших его лиц – то есть таких же верующих «истинно-православных христиан», как я и другие лица, посещавшие Панфила. Панфил […] обрабатывал нас в антисоветском духе, вел антисоветскую агитацию. Его антисоветская агитация проводилась во время сборищ верующих на молениях в его квартире. Панфил, читая религиозные книги, давал толкование и пояснял отдельные места этих книг, и в этих толкованиях и пояснениях, используя религиозные предрассудки, он давал всем нам наставления по проведению антисоветской работы»[13].

Разница между этими ответами была лишь в несколько часов. Нам остается только догадываться, было ли это результатом давления, или просто неумением

[13] ГДА СБУ, ф. 6-фп, д. 69346, т. 2, л.4 об.

следователя сгладить гетороглоссию в начале допроса. Иногда подобное смешение регистров может встретиться в одном предложении: «Я решила следовать за Дахно и Панфилом, и жить так, как [они], молиться и отказаться от земной жизни, чтобы спасти свою душу, то есть приняла решение продолжать участие в антисоветской работе группы Дахно»[14]. Подобное смешение речевых регистров или *разрыв*, обнажающий разноголосие, позволяет нам реконструировать по таким сложным архивным источникам истории простых верующих и деревенские религиозные практики в сталинской Украине. В то же время, это позволяет нам изучить саму «архивную текстуру» (то, что Энн Столер называет «along archival grain») и взглянуть на внутренние механизмы и принципы производства текстов и документов советскими спецслужбами[15]. В конечном счете, документы, создаваемые ОГПУ-НКВД-МГБ-КГБ, были важной частью технологии производства знания в Советском Союзе – знания, посредством которого легитимировалась власть и воспроизводилось само государство.

Подобно текстовым формам, фотографии и в целом визуальный материал из архивов КГБ является важным источником в исследовании и деревенских повседневных религиозных практик того периода и малоизученного крестьянского религиозного радикализма, порожденного репрессиями и войной. Эти «банальные следы сложной истории», как в тексте, так и на фотографиях, помогают также понять механизмы производства знаний спецслужбами и технологии создания образа врага. Разница (или «разрыв» Гинзбурга) между оригинальными снимками и их фотомонтажом – заштрихованные руки и перчатки оперативников – свидетельствует о том, что для сталинских спецслужб было важным скрыть государственное насилие. Этот примитивный фотомонтаж раскрывает также логику действий оперативника: что на самом деле является дефектным в судебной фотографии – закрытые глаза снимаемого и прочие требования советской официальной криминалистки? Или же то, что никто не встретит на страницах учебников и пособий, а именно руки оперативника, сжимающие горло поющей или кричащей заключенной? Возможно, это был и страх обнаружить то, что нельзя показывать, а именно, не столько насилие,

[14] Там же, л. 12 об.
[15] Stoler, Ann Laura. *Along the Archival Grain: Epistemic Anxieties and Colonial Common Sense*. Princeton University Press, 2009.

сколько неудавшуюся попытку разоблачения врага и выведения его на «чистосердечное признание», столь важное в сталинских уголовных процессах. Так или иначе, фотография – это тот же текст, и любой монтаж, ретушь и прочие редактирования изображения является «физическим вмешательством в нарратив фотографии», а значит меняет ее смысл и значение[16].

Панфил: праведник или главарь

Арест 19 мая 1952 года был частью большой чистки украинских сел и деревень от растущей и плохо контролируемой народной религиозности. За четыре месяца до ареста Панфила и его окружения, местные органы «ликвидировали» другую общину верующих, живущих в тех же деревнях. Их тоже судили как членов ИПЦ. По принципу снежного кома на допросах подсудимые называли новые имена, что, в свою очередь, приводило к новым арестам и новым уголовным делам. Иногда фигурантами одного уголовного дела могли стать супруги, близкие родственники или даже соседи осуждённого.

Верующие, представшие на суде в мае 1952 года, были в основном вдовы, потерявшие своих мужей на фронте, и одинокие матери, а также их совершеннолетние дети. Среди подсудимых были и молодые люди с полным школьным образованием, и бывшие члены комсомола, и колхозники. Все они в свое время (многие в период войны или первые послевоенные годы) отстранились от участия в советской жизни и выбрали религиозный путь. В анкетах арестованных все они подпадали под категорию «бедняков»: деревянная хата под соломенной крышей и небольшое приусадебное хозяйство было самым большим из конфискованного имущества. Две женщины из подсудимых были странницами. Кто-то из них просил подаяние, кто-то был в наймах, а кто-то жил на доходы от своего участка. После ареста, малолетние дети нескольких осужденных были отправлены в детдом: как позднее окажется, история одного из них неожиданно появляется в уголовном деле

[16] Edwards, Elizabeth and Janice Hart. “Introduction: Photographs as Objects.” In *Photographs, Objects, Histories. On the Materiality of Images*, ed. by Elizabeth Edwards, and Janice Hart. Routledge, 2004, 13.

много лет спустя после его закрытия. В 1998 году архивист вложил в архивное дело письмо, написанное сыном Панфила.

52-летний сапожник Панфил Колесник был главным обвиняемым. Он был арестован вместе со своей женой Марией и сыном Иваном. В окрестных деревнях о Панфиле ходили слухи как о прозорливом старце, «живущем жизнью праведника». В его доме собиралось много людей: помолиться, послушать его проповеди и толкование Святого Писания, послушать чтение из «Жития Святых». Следователь тут же переводит это как «главарь подпольной группы».

Панфил был также человеком радикальных религиозных принципов. Свою бедную хату он переоборудовал в домашнюю церковь, полную икон и церковных книг. Он полностью посвятил себя Богу. «Молитесь всегда и думайте только о спасении души», приводили его слова свидетели. Люди слушали, как он проповедовал узкий путь спасения и отречения от всего земного во имя Бога : «Если хочешь спасти душу от греха, то иного пути нет, только нужно лишиться всего, не думать ни о чем, кроме спасения души, делать только то, что исходит от [Б]ога… Нельзя служить двум господам сразу»[17]. И далее: «Я сам решил идти на все, даже на смерть ради [Б]ога, потому что хочу спасти свою душу»[18].

По крупицам собирая упоминания о Панфиле в свидетельских показаниях, мы узнаем, что он начал свой религиозный путь много лет назад, в 1926 году. Во время коллективизации Панфил отказался вступать в колхоз и был раскулачен. В последующие годы он работал сапожником, принимая в обмен на свою работу, продукты и вещи, и никогда не прикасался к советским деньгам и документам. Своим детям он запретил ходит в школу и не позволял им даже прикасаться к карандашам и учебникам. Некоторые свидетели говорили о том, что Панфил считал Советскую власть – властью Красного дракона[19]. Он и его последователи не вступали ни в какие советские организации, отказывались от советских документов, не платили налоги, не участвовали в голосовании и не подписывались на госзаймы. «Налоговые квитанции на оплату налога даже в руки не берут. А если их принесут

[17] Там же, т. 2, л.13.
[18] Там же, т. 2, л.13 об.
[19] Там же, т. 4, л. 51.

им домой, то они берут веник и выметают их из дома».[20] Они ходили друг к другу по домам, иногда совершая длинный путь в 40-50 км из одного села в другое, чтобы вместе помолиться. Ни с кем не разговаривая и ведя изолированный образ жизни, они вызывали волну слухов и любопытства соседей и местных властей. Не раз председатель сельсовета и секретарь местной партийной ячейки заходили к Панфилу в гости «узнать о существе их веры», но в ответ они получали только одно: «Бог знает».

Зимой 1940 года у Панфила и его жены отобрали их троих несовершеннолетних детей за отказ дать им коммунистическое воспитание. Детей отправили в детдом. «Когда забрали детей, то он бегал босой по селу зимой и сильно молился, но вскоре приехали его арестовывать. Он отказывался идти к машине и отвечать на вопросы. Его вынесли, положили на машину и увезли…», так описывает драматические события сосед Панфила.[21] Читая отрывки из показаний других свидетелей, мы узнаём, что во время войны детдом, куда были определены дети Панфила, был закрыт, и его воспитанники оказались на улице. Младший сын Панфила, Иван, вынужден был бродяжничать и просить милостыню. Только после войны он сумел разыскать своих родителей. О судьбе остальных детей Панфила мы не знаем.

К моменту второго ареста в 1952 году у Панфила и его жены Марии родилось еще двое детей: сыну Мирону на момент ареста родителей было 8 лет, дочери Ирине – 11 лет. Они тоже были отправлены в детдом. Но, как мы увидим позднее, архивное дело приоткрывает завесу над последующей судьбой этих детей.

Пласты истории: арест и приговор

Как мы уже отмечали, арест и судебный процесс над группой из 23 верующих был необычен. В официальном обвинительном заключении значится, что на момент ареста в доме Панфила собралось на ночное моление около 10 верующих. Все они оказали сопротивление во время задержания: забаррикадировали двери,

[20] Там же, т. 2, л. 98.
[21] Там же, л. 212.

разорвали на себе одежды, разбили окна и сломали мебель в доме. Когда же опергруппа сумела проникнуть в дом, они упали на пол и стали истерически кричать и громко петь.[22] Однако в дело был вложен другой документ – наскоро написанный карандашом акт о задержании.[23] В нем члены опергруппы (сотрудники УМГБ и председатель сельсовета в качестве понятого) по-иному описывают момент ареста. Арест производился ночью. После того, как верующие забаррикадировали дверь, оперативники выбили оконную раму и ворвались в дом: верующие в это время на коленях молились. Отказываясь подчиняться указаниями оперативников, он сели на пол, взявшись за руки, и стали петь и громко молиться. Кто-то выкрикивал: «Что это за власть?»; «Вы продались сатане!»; «Уходите прочь!» Они продолжали молиться и петь, пока оперативники тащили их и грузили на машину. «В связи с этим… арест был произведен с применением физической силы [отсюда порванная одежда и сломанная мебель]», отчитываются члены группы задержания.

После ареста верующие объявили голодовку и подверглись принудительному кормлению. Возможно, именно это стало причиной смерти пятерых верующих, умерших в киевской тюрьме МГБ в последующие два месяца. Они также отказались самостоятельно передвигаться, спать на своих тюремных койках, сидеть на стульях и пользоваться тюремной парашей. Сотрудники тюрьмы вынуждены были каждый раз их носить на руках: когда обвиняемых вызывали на допрос или на судебные слушания. В зале суда они отказались сесть на скамью подсудимых и вместо этого все легли на пол, начав громко петь и молиться. После неудачных попыток утихомирить «нарушителей социалистического порядка», судья удалила подсудимых, и слушания продолжались в их отсутствии. Было зачитано 37-страничное обвинительное заключение, составленное на всех 23 подсудимых. Они обвинялись в создании нелегальной, антисоветской, церковно-монархической организации «Истинно-православная церковь» во главе с руководителем Панфилом Колесником. «Проведенным следствием по делу установлено, что нелегальная антисоветская организация «ИПЦ» является наиболее реакционной церковно-монархической организацией, ставившей своей целью путем проведения

[22] Там же, т. 4, л. 3.
[23] Там же, т.3, л. 123-124.

организованной вражеской деятельности добиться реставрации старый монархических порядков в СССР».[24] Среди прочего, они обвинялись в распространении и популяризации «монархического учения “истинно-православных христиан”» и в «вовлечении в подполье новых лиц», несмотря на то, что протоколы их допроса и свидетельские показания говорят скорее об обете молчания верующих, их предельной изолированности от окружающего мира, вследствие которых даже самые близкие соседи не знали, что это за люди: они знали лишь о «молении штундой в какую-веру».[25] Продолжая логику обвинений, судья инкриминировал верующим также воспитание «в антисоветском-монархическом духе» своих детей с целью вовлечения новых лиц в нелегальное религиозное подполье.

Прокурор запросил 25 лет лишения свободы для всех подсудимых, кроме двух самых молодых женщин (одной было 22 года, другой 23 года). Судья предоставил последнее слово подсудимым. Панфил был краток: «Бог мне судья, я прошу у [Б]ога помилования». Другие отказались от последнего слова. Неожиданно, подсудимая 54-летняя Агриппина Рыбак встала и сказала: «Я прошу суд меня простить. Я поняла, что эта вера враждебна Советской власти. У меня муж погиб на фронте, я прошу суд меня помиловать».[26] Остается неясным, что же заставило ее заговорить, и почему она ранее хранила молчание. Умалчивал ли следователь о ее показаниях? Была ли она вообще допрошена до суда? Примечательно, что Рыбак была единственной из группы подсудимых, которая не пошла на голодовку – медицинские документы на ее имя, подтверждающие факт голодовки, отсутствуют. Тем не менее, возможно, именно ее последние слова с просьбой о помиловании спасли ей жизнь. Рыбак становится третьей подсудимой (вместе с двумя самыми молодыми осужденными), получившей 10 лет лишения свободы. Она стала одной из первых, чей срок вскоре сократили, а затем и освободили по амнистии. Все остальные получили 25 лет лишения свободы с конфискацией имущества и с последующими 5 годами поражения в правах.

Судья объявил приговор 29 мая 1952 года. Два дня спустя, 31 мая, одна из осужденных, 60-летняя Христиния Тищенко, умерла в тюрьме МГБ №1, в Киеве. Не

[24] Там же, т. 4, л. 4.
[25] Там же, т.3, л. 166.
[26] Там же, т. 4, л. 77 об-78.

дождавшись своего отправления в особый лагерь МВД, 26 июня того же года умирает и ее дочь, 26-летняя Мария Тищенко, в той же тюрьме МГБ №1. Панфил Колесник умер 10 июня того же года в той же тюрьме. Параскевья Корниенко (50 лет) и Матрена Иващенко (58 лет) умерли вскоре в той же тюрьме в Киеве. Наталия Накоренюк (64 года) умерла через несколько дней после своего прибытия в ГУЛАГ. Остальные осужденные были отправлены в лагеря, но в 1956 году все были освобождены с формулировкой: «За нецелесообразностью содержания в ИТЛ». В 1957, однако, некоторые были снова арестованы и суждены на 5-10 лет лишения свободы. Удивительным образом государственная бюрократическая машина еще долго продолжала серию апелляций и отказов в пересмотре дела самого Панфила Колесника, заявок на сокращение его срока, отказа в амнистии, несмотря на то, что Панфил к тому времени уже давно умер за стенами той же самой государственной репрессивной машины, которая все еще продолжала пересматривать его срок наказания.

И как эхом истории звучит голос из Джезказгана три года спустя: получив повестку о сокращении срока, Раиса Корниенко и Любовь Левченко отказались подписать документ. Начальник следственного изолятора Степлага, инспектор спецчасти и надзиратель пересыльного пункта отправляют в Киев акт на каждую: «от дачи расписки об объявлении [снижения срока] на почве религиозных убеждений… категорически отказалась», добавляя в скобках с орфографической ошибкой «*манашка*».[27]

Жизнь после: архивное дело после его закрытия

Архивное уголовное дело на Панфила и его последователей было закрыто с освобождением всех подсудимых в 1956 году. Но на этом история архивного дела на заканчивается. В 1992 году дело в очередной раз было пересмотрено следственным отделением УКГБ: все подсудимые были реабилитированы по закону от 1991 года «О реабилитации жертв политических репрессий». Однако и на этом история не заканчивается. Уже после того, как дело было закрыто и снова отправлено на архивные полки, в 1998 году архивист снова открыл папку и вложил еще один

[27] Там же, т.4, л. 211, 212.

документ. Это было письмо от Мирона Колесника, одного из сыновей Панфила, присланное в Украинскую службу безопасности в 1998 году. 46 лет спустя после судебного процесса над своим отцом, матерью и старшим братом, Мирон пишет с просьбой узнать о статусе реабилитации репрессированных членов своей семьи. Его письмо проливает свет на историю, которая не отразилась в документах уголовного дела. Мирон пишет, что на момент ареста его родителей в 1952 году ему было всего 8 лет, а его сестре Ирине 11 лет. После того как забрали их родителей и старшего брата Ивана, детей отправили в детдом. В их документах указали: «родители неизвестны». Из письма мы также узнаем, что мать Мирона, Мария Колесник, вернулась из ГУЛАГа в 1956 году очень больной. (Мы не знаем, смогла ли она воссоединиться со своими детьми). На следующий год ее снова осудили на 10 лет лишения свободы, которые в этот раз она полностью отбывала в Мордовских лагерях. Мать умерла дома, вскоре после своего освобождения. Старший брат Мирона, Иван, повторил судьбу своей матери. По возвращении из лагерей в 1956 году он был вторично арестован вместе с матерью и осужден на 5 лет.

«Мои родители и мой брат были репрессированы необоснованно, как в 1951[1952] году, так и в 1957 году, так как не совершали каких-либо преступлений. Они все были религиозными, [честными] и трудолюбивыми людьми», – пишет Мирон в своем письме. Он знал, что тогда, в 1952 году, отец и другие верующие объявили голодовку и что отец умер в тюрьме МГБ. Сын так никогда и не нашел его могилу.

Заключение: «Трудное» прошлое в музейном пространстве

Письмо Мирона, вложенное в дело, демонстрирует, что архивы КГБ живы и могут привести в движение механизмы исторической памяти. Еще много таких писем, заметок, воспоминаний, вновь обнаруженных фотографий и документов дополнят архивные дела. Письмо Мирона также говорит и о важной и сложной роли музеизации травматического исторического наследия, чьи участники до сих пор живы. Организаторы выставки в Клуже не включили историю Мирона в нарратив экспозиции. После долгих колебаний, мы решили опубликовать это письмо и

рассказать историю Мирона на виртуальной выставке «Подолье», посвященной истории репрессированных религиозных общин в Советском Союзе.[28] Для нас было важным помочь воссоединить поколенческий разрыв и активизировать коммуникативную память. Как отмечают на примере изучения советских семейных фотоальбомов Оксана Саркисова и Ольга Шевченко, здесь важно не столько изображение, сколько то, что происходит между зрителем и фотографией в процессе просмотра: «запуская сложные и часто не до конца осознанные механизмы самоидентификации, увлечения историей — выполняя, таким образом, эмоциональную, психологическую и культурную работу, которую Руниа объединяет термином «присутствие» (presence), … [ф]отоснимки создают эффект соприкосновения с прошлым, помогают почувствовать связь – “буквально или образно” – “с людьми, вещами, событиями и чувствами, которые сделали вас теми, кто вы есть / кем вы стали”».[29]

Тем не менее, историк и культуролог Давид Ловенталь предостерегает о возможной нездоровой политизации и инструментализации культурного и исторического наследия: оно может быть использовано как в хороших, так и в плохих целях.[30] Как исследователям и кураторам, нам необходимо быть предельно внимательными к тому, как мы работаем с трудным и травматическим наследием недавнего прошлого, избегая повторения травм. Включая историю Мирона и его родителей в выставку, публикуя фотографии насилия над верующими, мы пытаемся не только исторически контекстуализировать долгую историю архивного дела, но и показать, что любой архив и любой музейный предмет может «ожить» и стать частью нового исторического нарратива. Все зависит от нас – создателей музейных галерей и их зрителей – каким будет этот новый исторический нарратив: будет ли он исцелять травмы прошлого или делать их более болезненными.

Как утверждают Саркисова и Шевченко, одни и те же изображения могут быть частью совершенно разных, иногда несовместимых нарративов. Фотоснимки в архивах КГБ были использованы в свое время как доказательство вины осужденных.

---

[28] http://hiddengalleries.eu/underground

[29] Саркисова, Оксана, Шевченко Ольга. В поисках советского прошлого: Любительская фотография и семейная память. *Новое литературное обозрение*, №1/131 (2015).

[30] Lowenthal, David. *The Heritage Crusade and the Spoils of History*. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.

Сегодня, извлеченные из пыльных папок, где они хранились десятилетиями под грифом «секретно», они оказываются частью музейного пространства (реального и виртуального). В этом новом публичном пространстве они создают новый нарратив и порождают новые смыслы – теперь уже как доказательства обвинения против Советского режима. Это «демонстрирует подвижность интерпретаций фотографического материала, но в то же время показывает, что фотоизображения имеют мощный доказательный потенциал, оставаясь неоспоримым «сертификатом присутствия».[31]

В этой статье мы попытались показать, как по-разному могут прочитываться архивные фотографии и тексты, и как они, становясь частью музейного пространства, обретают новый потенциал в формировании исторической памяти. Изображения и документы, вошедшие в уголовное дело Панфила Колесника и его религиозной общины, обнажают моменты насилия и страдания верующих. Но как возможно трансформировать образы насилия и страдания в культурное и историческое наследие? Как предупреждает нас исследовательница Холокоста Сюзан Крейн, банальная общедоступность фотографий смерти, пыток и насилия времен Второй мировой войны несет в себе опасность: они не помогают, а скорее мешают соприкосновению с историческим прошлым.[32] Осознавая эту этическую сложность, мы все же решили опубликовать изображения насилия, задавшись целью их исторически контекстуализировать, погрузить их в истории и судьбы изображенных на них людей. Добавляя слой за слой историю (то, что в этнографии называется «плотным описанием») мы видим, как меняется значение самих фотографий. Если поначалу мы думали, что изображенные на фотографиях люди кричат, то, погружая образы в историю, мы увидели, что они не кричат – они молятся и поют. В конечном счете, эти фотографии перестают быть образами насилия, но становятся образами сопротивления и стойкости верующих. Подобный метод «плотного описания» фотографий и микроистории позволяет увидеть верующих не

[31] Саркисова Оксана, Шевченко Ольга. «Приехали, расстреляли, и все»: семейные фотографии, память места и опыт государственного насилия в Новочеркасске. *Неприкосновенный запас*, №1/87 (2013).
[32] Crane Susan A. Choosing Not to Look: Representation, Repatriation, and Holocaust Atrocity Photography. *History and Theory*, 47/3 (2008): 309.

как жертв политических репрессий, а как бескомпромиссных и твердых духом людей, избравших свой путь веры и идущих по нему до конца.